

Рядом с раннею зрелостью Толстого Сергей Клычков кажется очень юным дебютантом, но дебютантом, от которого можно ожидать многого. Его «Песни» — не песни, а скорее скороговорки, удачно подобранные, часто красивые, но всегда оборванные на первом слове. Не хватает складной речи. Хочется послушать, как С. Клычков будет рассказывать о себе. Пока же это лишь звучный перебор колоколов:

Дили-бом! Дили-бом!  
 Дили-бам! Дили-бам!  
 Все чугунным языком  
 По серебряным губам! <sup>6</sup>

### «ЗАРЕВО ЗОРЬ»

Так называется последняя книга Бальмонта.

— Всем тем, в чьих глазах отразились мои Зори, отдаю я ответ их очей,<sup>1</sup> — говорит он на первой посвятельной странице этой книги.

Сколько их, этих Зорь? Этих ответов?

Кажется, это — десятая или двенадцатая по числу книга <sup>2</sup> его стихотворений. . . Но не все равно ли?

Сегодня в Петербурге торжественно, всероссийски празднуется 25-летний юбилей литературной деятельности Бальмонта. . .

— *Quelle blague!* \*

Разве можно говорить о «литературной деятельности» Бальмонта? Но я понимаю этот юбилей: это русская молодая поэзия празднует совершеннолетие; ей сегодня исполнилось двадцать пять лет.

Двадцать пять лет тому назад при звуке первых стихотворений Бальмонта она очнулась от того старческого сна, в который погружалась постепенно. Бальмонт был действительно заревом грядущих зорь. . . Мы — свидетели их.

Последние годы много говорилось о «падении» Бальмонта.<sup>3</sup> Это так же неверно, как и то, что будто бы Бальмонт написал двадцать книг, что ему сорок пять лет, что он был влюблен «тысяча и три» раза. . .

Для Бальмонта нет времени, — того обычного времени, измеряемого минутами, днями и годами. Его время измеряется вечностью и мгновением. За эти двадцать пять лет он пережил только одно мгновение, создал только одно стихотворение, был влюблен только один раз.

Но это одно стихотворение он произносил с тысячами интонаций, спеша с влюбленной торопливостью заглянуть в зрачки тысячам людей, которых встречал на пути, точно каждому из людей, живущих на земле, по-иному хотел сказать то же слово.

Если нам кажется, что Бальмонт повторяется, то это — собственная наша вина, мы не хотим удовлетворяться тем стихотворением, которое создано лично для нас, и нескромно подслушиваем те, что он уже шепчет другим.

\* Какая чепуха! (*франц.*).

Однажды я решился спросить Бальмонта: считает ли он справедливыми слова Гете о том, что творчество начинается лишь там, где есть самоограничение?

Он же ответил мне: «Но если бы ты знал, сколько еще стихотворений я не захотел написать!». . .

По этому ответу я понял, что для Бальмонта существуют совсем иные критерии, о которых не подумал Гете.

Пенься, мгновенье, будь многопенней,  
Свежих мгновений нам ветер навей. . .

Первая строчка верна, но вторая лжет. Бальмонт безысходно заключен в темнице одного мгновенья.

Бальмонт перевел Шелли, Эдгара По, Кальдерона, Уольта Витмана, испанские народные песни, мексиканские священные книги, египетские гимны, полинезийские мифы,<sup>4</sup> Бальмонт знает двадцать языков, Бальмонт перечел целые библиотеки Оксфорда, Брюсселя, Парижа, Мадрида. . . Все это неправда, потому что произведения всех поэтов были для него лишь зеркалом, в котором он видел лишь отражение собственного своего лика в разных обрамлениях, из всех языков он создал один, свой собственный, а серая пыль библиотек на его легких крыльях Ариеля превращается в радужную пыль крыльев бабочки.

Бальмонт — самый дальностранствующий из всех русских поэтов: он путешествовал по Мексике, он посетил Египет. . . В настоящую минуту, когда мы празднуем «25-летие его литературной деятельности», он плывет где-то по границам Индийского и Южно-ледовитого океана из южной Африки в Тасманию, он ничего не знает о том, что Россия чествует его сегодня, а пакет с газетными вырезками догонит его не раньше, чем через полгода на каком-нибудь из океанских архипелагов.

И в то же время Бальмонт, конечно, не видал ни одной из тех стран, по которым он проехал. И если в его душе живет четкое видение земли, то, конечно, это какой-нибудь серенький пейзаж Владимирской губернии, воспоминание о русской деревне, пути к которой ему заказаны в его отдаленных странствиях.

Как бесконечно трогательно и наивно это воспоминание, написанное им в прошлом году в Египте:

Прекрасней Египта наш север.  
Колодец. Ведерко звенит.  
Качается сладостный клевер,  
Горит в высоте хризолит.  
А яркий рубин сарафана  
Призывнее всех пирамид.  
А речка под кровом тумана. . .  
О, сердце! Как сердце болит! <sup>5</sup>

И на той же самой странице он говорит: «Где бы я ни странствовал, везде припоминаю мои душистые леса. Болота и поля. В полях от края

к краю родимых кашек полоса. . . И так чарующе, и так унывно-четко, душа поет: „Вернись. Пора“». <sup>6</sup>

Тот знак, которым однажды отметила Бальмонта «безглагольная» русская природа, <sup>7</sup> никогда не сотрется из его сердца и не даст места другим видениям, в каких бы экзотических странах ни стремился бы он утолить вечную тоску своего изгнания. Для них у него есть слова привычно-драгоценные, бессильно-изысканные. Но только для русских равнин находит он те черты, те напевы слов, которых нельзя забыть, раз услышавши. «Тоска степей» в его последней книге относится к тем изумительным стихотворениям, за которые можно простить сотни равнодушных страниц. . .

Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит,  
Звон стеблей, ковыль, поет, поет, поет,  
Серп времен горит, сквозь соя, горит, горит,  
Слезный стон растет, растет, растет, растет.  
Даль степей не миг, не час, не день, не год.  
Ширь степей, но нет, но нет, но нет путей,  
Тьма ночей, немой, немой тот звездный свод,  
Ровность дней, в них зов, но чей, но чей, но чей?  
Мать, отец, где все, где все — семьи моей?  
Соя весны — блеснул, но спит, но спит, но спит,  
Даль зовет — за ней, зовет, за ней, за ней,  
Звук зурны звенит, звенит, звенит, звенит. . . <sup>8</sup>

Что это? Как это сделано? Как достигнуто здесь то, что когда читаешь эти строфы, то не слышишь ни одного слова, но в ушах явственно звенит долгий степной напев. . . Это — чудо.

Мы можем как угодно бороться и спорить с Бальмонтом, можем, открывая новые и новые тома его произведений, изнывать от тоски, не находя своего стихотворения, можем отрицать его. . . Но он внезапно ослепляет нас гениальными строками и говорит:

С сердцем ли споришь ты? Милая, милая,  
С тем, что певуче и нежно, не спорь.  
Сердце я. Греза я. Воля я. Сила я.  
Вместе оденемся в зарево зорь. <sup>9</sup>

Кто же Бальмонт в русской поэзии? Первый лирический поэт? Предтеча? Родоначальник? Выше он — или ниже других живущих?

На это нельзя ответить. Его нельзя сравнивать. Он весь — исключение. Его можно любить только лично. . .

Кто же Бальмонт?  
— Зарево зорь. . .